

18+ Анна Акинъшина

ЗЕРКАЛА НА ПРОДАЖУ



Анна Акиньшина

Зеркала на продажу

<https://litres.ru/74429607>

ISBN 9785007119641

Аннотация

Он всю жизнь боялся, что его увидят.

Она не отражалась ни в одном зеркале.

Их встреча не должна была случиться.

Но в доме, где зеркала поют по ночам, невозможное становится неизбежным.

«Зеркала на продажу» — история о любви, которая приходит с той стороны стекла.

И о цене, которую платит каждый, кто решится в это стекло посмотреть.

Содержание

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕРЕБРЯНАЯ ИЗНАНКА	5
Глава первая	5
Глава вторая	13
Глава третья	18
Глава четвёртая	24
Глава пятая	30
Глава шестая	39
Глава седьмая	46
Глава восьмая	53
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Зеркала на продажу

Анна Акиньшина

© Анна Акиньшина, 2026

ISBN 978-5-0071-1964-1

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. СЕРЕБРЯНАЯ ИЗНАНКА

Глава первая

в которой я, вопреки здравому смыслу, принимаю заказ от человека, не отражающегося в зеркалах, и совершаю первую из многих ошибок.

Люди думают, что зеркала лгут. Это не так. Зеркала — единственные честные существа на свете, и именно поэтому их так часто занавешивают чёрным крепом. Я знаю это лучше, чем кто-либо, ибо уже семнадцать лет зарабатываю на жизнь тем, что покупаю и продаю правду. Не ту правду, о которой кричат на площадях. А ту, что прячется в глубине стекла и выходит наружу только тогда, когда человек остаётся с зеркалом наедине.

Моя лавка на Гороховой улице, между булочной, где по утрам пахнет корицей так, что хочется плакать, и мастерской гробовщика, откуда по вечерам доносится мерный стук молотка, не слишком приметна. Дом старый, с облупленным фасадом, с узкой дверью, над которой покачивается вывеска. Вывеска гласит: «М. А. Штерн. Зеркала и стекла. Оценка, покупка, продажа». Буквы выцвели, позолота облупилась, но

я не тороплюсь обновлять. Пусть думают, что здесь торгуют старьём. Старьё — это тоже правда. Просто она дольше лежит на полках.

Стекло — моя стихия. Оно холодное, как покойник, и прозрачное, как совесть новорождённого. Оно не умеет притворяться. Оно лишь показывает. И в этом его главная жестокость.

Но есть у стекла и другое свойство, о котором не пишут в учебниках. У каждого зеркала — свой запах. Не тот, что от рамы или пыли. А глубинный, внутренний. Старые зеркала пахнут временем: одни — сухим деревом и ладаном, другие — сырой землёй, третьи — женщиной, которая слишком долго смотрела в них перед разлукой. Я научился различать эти запахи раньше, чем научился определять возраст амальгамы по весу. И теперь, спустя семнадцать лет, я знаю: запах не обманывает. Он — как голос. Только тише.

В тот вторник, с которого начинается моя история — а всякая история начинается не с рождения героя, а с его первой настоящей ошибки, — я сидел за прилавком и перебирал старые гроссбухи. Дела шли скверно. Осень в тот год выдалась особенно мрачной: люди умирали не от болезни, а от какой-то внутренней тоски, которая съедает человека быстрее чахотки. Гробы заказывали чаще, чем зеркала, и, глядя на витрину соседа-гробовщика, я ловил себя на зависти — чистой, холодной, как стекло, зависти к человеку, чей товар всегда востребован. Смерть — отличный бизнес. Она не зна-

ет кризисов.

За окном моросил дождь. Тот самый петербургский дождь, что похож на слёзы сквозь сито. Прохожие торопились, прятали лица в воротники, и от этого все казались немного виноватыми. Я смотрел на них сквозь мутное стекло витрины и думал, что город — это тоже зеркало. Только в нём отражается не лицо, а судьба.

Вошёл человек.

Я не сразу его заметил. Сначала услышал, как не скрипнула половица. А она скрипела всегда. Это была особая, заговорённая половица у самого входа, которую я нарочно не чинил, чтобы слышать посетителей до того, как они увидят мой прилавок. На этот раз — тишина. Как будто вошёл не человек, а сквозняк.

Я поднял голову.

Он стоял посреди лавки — высокий, в дорожном плаще, пошитом у портного, который явно знает цену не только сукну, но и молчанию. Плащ был тёмный, с капюшоном, откинутым на спину. Лицо его я не мог запомнить. Не в том смысле, что оно было непримечательным или расплывчатым, нет. Просто мой взгляд, привыкший цепляться за детали, всякий раз соскальзывал с него, как капля дождя со стекла. Я видел его — и не видел. Он был, как отражение в тёмной воде: вроде есть, а взглядишься — ничего.

И ещё — от него не пахло. Совсем. Даже мокрым плащом. Даже улицей. Даже человеком.

— Добрый день, сударь, — сказал я, и голос мой прозвучал глуше, чем мне бы хотелось. — Вы ищете что-то определённое? Зеркало для будуара? Трюмо для гостиной? Или, быть может, дорожный несессер с секретом?

Он обернулся. Вернее, я догадался, что он обернулся, потому что давление его присутствия переместилось с одного плеча на другое, как перемещается холод, когда открывают вторую дверь.

— Вы Штерн? — спросил он.

Голос был как шорох сухой листвы по камню. Не то чтобы неприятный, но какой-то... завершённый. Так говорят люди, которые уже всё решили и пришли лишь оформить неизбежное.

— К вашим услугам. Мордехай Штерн, оценщик зеркал. Имею честь обслуживать лучшие дома столицы, а также, — тут я понизил голос, как делал всегда, когда речь заходила о щепетильных материях, — отдельные дома за городом, где требуют особой деликатности.

— Мне говорили, вы умеете определять возраст стекла по запаху.

— Преувеличение, сударь. По весу, по глубине посеребрения, по характерному налёту времени... Запах — лишь малая часть моего ремесла. Но, признаюсь, иногда он говорит больше, чем глаза.

Он прошёлся по лавке. Двигался он странно: не как человек, осматривающий товар, а как тот, кто уже всё видел и

лишь сверяет с памятью. Остановился у амальгамы — старинного зеркала в потускневшей раме, которое я держал не для продажи, а для собственного удовольствия. Амальгама отражала всё. Кроме него.

Я смотрел, как он стоит перед ней, и внутри у меня всё сжалось. Не от страха. От понимания. Если зеркало не отражает человека, это значит одно из двух: либо зеркало сломалось, либо человек — не совсем человек.

— Красивая вещь, — сказал он. — Сколько ей?

— Лет сто. Может, больше.

— И она всё ещё помнит.

— Помнит что?

— Тех, кто в неё смотрелся. — Он повернулся ко мне. — Зеркала ведь помнят, господин Штерн. Это вы знаете лучше меня.

Я не ответил. По опыту знал: те, кто начинает разговор с философских сентенций, заканчивают его либо просьбой о скидке, либо угрозой. Этот не был похож ни на того, ни на другого.

— Мне нужно, чтобы вы оценили коллекцию зеркал, — сказал он. — В доме моей подопечной. Вдовы. Она недавно овдовела и желает избавиться от некоторых вещей, напоминающих ей о покойном муже.

— Сочувствую, — машинально сказал я, хотя чувствовал другое: холод, исходящий от него, и странную вибрацию в воздухе, как будто где-то рядом звенело разбитое стекло, ко-

торое ещё не разбили.

— Сочувствие — это тоже зеркало, — заметил он. — Мы сочувствуем лишь тому, что узнаём в себе. Вы ведь понимаете, о чём я, господин Штерн?

Я не ответил. В лавке стало тихо. Только дождь стучал по стёклам, как чужое нетерпение.

— Вот адрес, — он положил на прилавок визитную карточку.

Я взглянул. Карточка была белая, без единой буквы. Чистый лист, если не считать едва заметного тиснения — роза с тремя шипами.

— Здесь нет адреса, — заметил я.

— Придёте послезавтра, в сумерках. Вас проводят. И вот ещё что, господин Штерн, — он наклонился ко мне, и я впервые увидел его глаза. Они были как два осколка стекла, в которых отражалось не моё лицо, а что-то другое, тёмное и глубокое, как колодец. — Не задавайте вопросов. Зеркала в этом доме не любят вопросов.

Он ушёл так же, как появился: беззвучно, оставив после себя только запах — тонкий, сладковатый, как духи на покойнике, и лёгкий сквозняк, который не имел источника.

Когда дверь за ним закрылась, я подошёл к амальгаме и провёл по ней ладонью. Поверхность была холодной, но не обжигающе-холодной, как бывает зимой, а как-то... безнадёжно холодной, как лоб человека, который умер во сне.

Я не суеверен. Точнее, я достаточно суеверен, чтобы не

считать себя таковым. За семнадцать лет работы я повидал зеркала, которые показывали прошлое, и зеркала, которые не показывали ничего, даже настоящее. Я видел, как люди плакали перед собственным отражением, как они целовали холодное стекло, как они разбивали его кулаками и потом слизывали кровь с осколков, шепча имена тех, кто не придёт.

Но в тот вечер мне впервые стало не по себе. Словно кто-то другой посмотрел на меня изнутри амальгамы — не моё отражение, а тот, кто стоял за мной, хотя я был в лавке один.

Я запер дверь, опустил шторы и поднялся в жилую комнату на втором этаже. Там, в маленьком кабинете, я зажёл свечу и сел за стол, чтобы записать в гроссбух события дня. Чернила были свежие, перо острое, но рука дрожала, и строчки выходили кривыми, как будто их писал человек, который боится темноты.

«Вторник, 14 октября. Посетитель без отражения. Заказ: оценка коллекции зеркал в доме вдовы. Адрес неизвестен. Оплата не обговорена. Опасность: предположительно значительная. Принято ли? — Принято».

Я перечитал написанное и усмехнулся. Если бы кто-то прочёл мой гроссбух, он решил бы, что я веду записи в жанре бульварного романа. Но в этом и состоит моё ремесло: я не продаю зеркала. Я продаю страх. А страх, как известно, — единственный товар, который никогда не выходит из моды.

Я видело его.

Он вошёл не как другие. Другие входят, чтобы купить, посмотреть, прицениться. Он вошёл, чтобы проверить, помню ли я его.

Я помню.

Люди думают, что мы, зеркала, — просто стекло. Они ошибаются. Мы — свидетели. Мы стоим в комнатах, как немые судьи, и смотрим. Годами. Веками. Мы запоминаем не лица, а то, что за ними. И этот человек был пуст изнутри. Так пуст, что даже я не смогло отразить его.

А теперь он ушёл, оставив после себя холод.

И запах.

Не свой. Чужой.

Запах женщины, которая умерла, но не ушла.

Я узнало его. Это запах Мари.

Глава вторая

в которой я наношу визит старому знакомому, слышу предостережение и узнаю, что дом, куда меня пригласили, существует не на всех картах.

До пятницы я дважды порывался сжечь визитную карточку. Но, как и всякий человек, который зарабатывает на чужих тайнах, я был слишком любопытен, чтобы быть благоразумным. К тому же в лавке было пусто, как в соборе в понедельник утром. Осенний Петербург высасывал из людей все желания, кроме одного — спрятаться. А я не умел сидеть без дела.

В четверг, вместо того чтобы сжечь карточку, я сунул её в карман и отправился к старому знакомому. Звали его Аристарх Панфилов. Когда-то он служил смотрителем в Эрмитаже, но вышел в отставку и поселился на Литейной, в квартире, заставленной таким количеством зеркал, что казалось, будтоходишь в лабиринт, где стены сделаны из чужих судеб.

Аристарх был из тех людей, которые видят не глазами, а как-то иначе — всем существом, как видят кошки и умалишённые. Он редко выходил из дома, ещё реже принимал гостей, но меня пускал всегда. Говорил, что от меня пахнет стеклом. А это, по его словам, лучшая рекомендация.

— Мордехай, — сказал он, не оборачиваясь, когда я во-

шёл. — Ты принёс с собой холод. И ещё — запах тлена. Где ты был?

— Нигде. Ко мне приходили.

Он обернулся. Лицо его, изрезанное морщинами, как старая карта, осветилось улыбкой, но глаза остались тревожными.

— Знаю. Высокий, в плаще, без отражения. Ты зря его выпустил.

— Ты читаешь мои мысли, Аристарх. Пора бы привыкнуть, но всякий раз вздрагиваю.

— Я не читаю мысли. Я читаю стекло. А оно, — он указал на большое трюмо в углу, которое я ему когда-то продал, — помнит всё, что ты принёс с собой. Человек без отражения — это не человек, Мордехай. Это вестник. Или того хуже.

— Чего хуже?

— Кредитор.

Он рассмеялся, но смех его был невесёлым, как будто он сам не верил в то, что пытается обратить в шутку.

Я сел в кресло, обитое потёртым бархатом. Кресло скрипнуло подо мной, как старик, жалующийся на судьбу. Аристарх сел напротив, взял с подоконника кошку — или существо, которое он называл кошкой, хотя временами оно казалось мне сгустком теней, — и стал гладить её, не глядя.

— Расскажи, — сказал он.

Я рассказал. Про визит, про карточку, про розу с тремя шипами. Аристарх слушал молча. Когда я закончил, он долго

смотрел в окно, за которым моросил всё тот же дождь.

— Это дом Верховцевых, — сказал он наконец. — Точнее, то, что от него осталось. Ты, конечно, о нём не слышал. О нём вообще мало кто слышал. Он есть, но его нет. Понимаешь?

— Пока нет.

— Дом стоит в конце Малой Зеркальной улицы. Но этой улицы нет на картах. Вернее, она есть, но называется иначе. Те, кто живёт рядом, не замечают дома. Проходят мимо — и не видят. Только иногда, в сумерках, кто-нибудь остановится, поднимет голову и скажет: «Здесь что-то было». И пойдёт дальше.

— Что за дом?

— Старая усадьба. Лет сто, не меньше. Построена при Екатерине. Потом перестраивалась. Потом горела. Потом снова отстраивалась. Но всегда — на одном месте. И всегда — с зеркалами.

— Что с ними не так?

— Всё не так. Они не отражают. Точнее, отражают, но не то, что надо. Говорят, в этом доме можно увидеть себя не таким, какой ты есть, а таким, каким ты будешь после смерти. Или до рождения. Или вообще — в чужой жизни.

— И кто так говорит?

— Те, кто вернулся. А таких, — Аристарх усмехнулся, — всего двое. Я и ещё один человек, о котором тебе знать не обязательно.

Он замолчал. В квартире стало тихо, только часы на сте-

не тикали как-то неправильно: то быстрее, то медленнее. Я знал эти часы. Они ходили назад. Аристарх говорил, что так он возвращает себе утраченное время. Я думал, что так он просто дразнит смерть.

— Если я не вернусь, — сказал я, поднимаясь, — зайди в мою лавку и забери амальгаму. Она тебе нравится.

— Она не отражает меня, — тихо сказал Аристарх. — Поэтому и нравится.

Я вышел в промозглый вечер. Туман обнял меня, как старый друг, который знает все твои тайны и не осуждает. Петербург в октябре — это город, где живут не люди, а их тени, прикованные к телам лишь тонкой нитью воли. Всё здесь пропитано ожиданием: то ли снега, то ли беды, то ли того и другого сразу.

Я шёл по мокрой мостовой, и витрины смотрели на меня. Их было много — больших и маленьких, тёмных и освещённых. И в каждой я видел своё отражение. Не всегда одинаковое. Иногда мне казалось, что оно задерживается на долю секунды дольше, чем нужно. Будто не успевает за мной. Будто живёт своей жизнью.

Дома я долго стоял у окна, глядя на улицу. Где-то вдаль, над крышами, поднимался туман. Он был густой, как молоко, и в нём тонули фонари. Я смотрел, как они гаснут один за другим, и думал о том, что завтра — пятница. И что в сумерках я должен быть у дома, которого нет.

Я не боялся. Я был слишком любопытен. А любопытство,

как известно, — это тот же голод, только хуже. Его нельзя утолить, от него нельзя отказаться. Оно ест тебя изнутри, пока ты не признаешь его частью себя.

** — Мы видели, как ты шёл. Ты смотрел в наши стёкла и не знал, что мы смотрим в ответ.**

Глава третья

в которой я впервые вижу дом Верховцевых, встречаю ту, что не назвала своего имени, и слышу, как зеркала начинают дышать.

В пятницу, ровно в сумерках, как было велено, я стоял у ворот дома, которого не было. То есть он был, но только если смотреть на него уголком глаза, как смотрят на привидение или на воспоминание. Прямой взгляд соскальзывал, как с лица того человека в лавке.

Я нашёл улицу. Ту самую, о которой говорил Аристарх. На табличке значилось другое название, но я знал: это она. Узкий переулок, зажатый между двумя доходными домами, уводил в туман и терялся в нём, как тропинка в лесу. Я шёл по нему, и звуки города отступали, делались глуше, пока не превратились в далёкий шум, похожий на шум моря.

Дом вырос внезапно. Сначала я увидел ворота — старые, но не ржавые, без замка и засова. Только кольцо, которое, как я позже понял, никогда не использовали. Потом — фасад. Двухэтажный, тёмный, с высокими окнами, за которыми не горело ни одного огонька. Камень потемнел от времени, и от него веяло холодом, как от могильной плиты.

Я подошёл ближе. Ворота открылись сами, без скрипа, как будто их смазали чем-то, что не подчиняется законам трения.

Во дворе меня встретила женщина. Точнее, сначала я не был уверен, что это женщина, — настолько она была бледна и недвижима. Чёрное платье, чёрный чепец, чёрные перчатки. Лицо — белое, как первый снег, и такое же немое. Но глаза... Глаза у неё были живые, слишком живые для этого дома, и в них плескалось что-то, что я принял сначала за страх, а потом понял: это было любопытство.

— Господин Штерн, — произнесла она, и голос её был как скрипка, на которой играют в похоронном марше: красиво, но безнадёжно. — Прошу за мной. Поверенный ожидает вас.

— А вдова?

— Вдова уже никого не ждёт.

Она повернулась и пошла. Я двинулся следом, стараясь не отставать. Мы прошли через анфиладу комнат, и я, несмотря на всю свою выдержку, не мог удержаться от дрожи.

В каждой комнате, в каждом простенке, на каждой стене висели зеркала. Высокие, низкие, овальные, в золотых и серебряных рамах, старинные и не очень. Но все они были занавешены чёрным шёлком. И все они, как я заметил, слегка вибрировали, когда я проходил мимо, как будто внутри них что-то рвалось наружу.

— Почему они занавешены? — спросил я.

— Чтобы не видели, — ответила женщина, не оборачиваясь.

— Кого?

— Себя.

В последней комнате, самой большой, где стены были обиты тёмно-вишнёвым шёлком, а потолок терялся во мраке, как будто его вовсе не было, стоял тот самый человек. Вернее, он не стоял — он присутствовал. Он заполнял собой пространство так, как вода заполняет пустоту сосуда: бесшумно, но необратимо.

— Вы пришли, — констатировал он. — Хорошо. Начнём с малой гостиной. Вдова желает продать семь зеркал. Ваша задача — оценить их.

— Позвольте взглянуть, — я попытался придать голосу деловитость, но он прозвучал хрипло, как будто я простудился.

— Конечно. Только один совет. Не трогайте их руками. И не слушайте.

— Чего не слушать?

— Голосов.

Он вышел, и я остался один. Ну, не совсем один. Со мной были зеркала. И они знали, что я здесь.

Малая гостиная оказалась небольшой комнатой, но от этого не менее страшной. Семь зеркал висели на стенах в два ряда: четыре сверху, три снизу. Все занавешены. Все молчат. Но молчание это было не тишиной, а ожиданием.

Я подошёл к первому, самому крайнему слева, и, помедлив, взялся за край ткани.

— Не надо, — слышался шёпот.

Я резко обернулся. В комнате никого не было. Только зер-

кала. И тишина. Такая тишина, какая бывает в комнате, где только что кто-то умер.

— Не надо, — повторил голос. Он шёл из зеркала. Из-за чёрного шёлка.

Я сглотнул. По спине пробежал холодок, но не тот, что от сквозняка, а особый, внутренний, какой бывает, когда понимаешь, что стал частью чужой истории, не своей.

— Я оценщик, — сказал я вслух, сам не зная, кому. — Мне положено смотреть.

— Оценщик, — голос усмехнулся. — А ты уверен, что оценишь? Что знаешь цену тому, что видишь?

Я не ответил. В конце концов, я пришёл сюда не для разговоров с покойниками. Я сдёрнул шёлк с первого зеркала.

И увидел.

Зеркало было старинное, в резной раме из чёрного дуба, с потемневшей амальгамой, которая, тем не менее, отражала необычайно ясно. В нём я увидел комнату — не ту, в которой стоял, а другую: светлую, залитую солнцем, с белыми занавесками, которые колыхал лёгкий ветер. У окна сидела женщина в голубом платье и что-то писала. Рядом стоял мужчина, склонившийся над ней, и его рука лежала на спинке кресла, почти касаясь её плеча. Он был молод, красив и... мертвенно бледен.

Я смотрел в зеркало, и картина не менялась. Она была живой, но не в том смысле, в каком живут отражения. Она была частью прошлого, застрявшего в стекле, как муха в янтаре.

И тут женщина в зеркале подняла голову и посмотрела на меня. Прямо на меня, глазами, полными такой тоски, что у меня перехватило дыхание.

— Помоги, — прошептала она. — Он не уходит.

Я отшатнулся. Занавес упал обратно, закрыв зеркало. Сердце билось где-то в горле. Дышать стало трудно, как будто воздух в комнате сгустился до состояния воды.

— Что там? — раздался голос за спиной.

Я обернулся. В дверях стояла вдова. Теперь я понял, что это она. Потому что на ней было то самое голубое платье из зеркала. Только теперь оно было чёрным. И лицо её было лицом той женщины, но на двадцать лет старше, и в глазах вместо тоски была пустота — та особая пустота, которая бывает у людей, переживших самих себя.

— Я... — начал я.

— Вы увидели её? — спросила вдова, и голос её дрогнул.

— Вы увидели Мари?

— Я не знаю, кто это.

— Мари, — повторила она. — Моя сестра. Она была... — вдова замолчала, и лицо её исказилось, как будто невидимая рука сжала его изнутри. — Она была слишком красива для этого дома.

Из темноты за её спиной выступил поверенный. Его лицо по-прежнему не запоминалось, но теперь я увидел на нём нечто новое: тень улыбки, тонкую, как лезвие.

— Оценка, господин Штерн, — сказал он. — Вы сможете

дать заключение? Или, быть может, вам нужно пожить здесь некоторое время? Вдова не против. Ей, видите ли, одиноко.

Он посмотрел на вдову, и в этом взгляде было что-то такое, от чего мне захотелось оказаться как можно дальше от этого дома. Но вместо этого я услышал собственный голос, произносящий:

— Да. Я поживу.

Как будто сказал не я. Как будто кто-то внутри меня, увидевший в зеркале слишком много, уже принял решение, о котором я не знал.

** — Ты смотрел в неё. Теперь она смотрит в тебя.**

Глава четвёртая

в которой я становлюсь постояльцем дома, где зеркала разговаривают по ночам, и знакомлюсь с особой, чьё имя звучит как приговор.

Комнату мне отвели на втором этаже, в самом конце коридора. Окно выходило во внутренний двор, где рос старый вяз. Дерево было мёртвым, но не окончательно: на нём ещё оставались листья, которые не падали, а просто висели, будто ждали приказа. Я подумал, что этот вяз похож на меня: живой снаружи, мёртвый внутри, но всё ещё цепляющийся за то, что называется существованием.

В комнате пахло пылью, сухим деревом и чем-то ещё — сладковатым, как застоявшиеся духи. На стене висело зеркало. Разумеется. Без него нельзя было представить этот дом. Оно было небольшое, овальное, в раме из потемневшей бронзы, и, в отличие от остальных, не занавешено. Я подошёл и увидел себя. Это был я, но какой-то другой: лицо усталое, глаза ввалились, как будто я не спал неделю. Одежда та же, но воротничок помят, словно меня схватили за горло и долго держали. Я поднял руку — отражение подняло руку с задержкой. На долю секунды позже. Я опустил — оно повторило. Но задержка была. Я знал, что это значит. Зеркало не просто отражало. Оно смотрело.

— Добрый вечер, — сказал я отражению.

— Добрый, — ответило оно. — Ты пришёл.

Голос был мой, но интонация чужая. Так говорит человек, который давно ждал гостя и уже потерял надежду его увидеть.

— Ты знаешь, зачем я здесь?

— За тем же, за чем и все. За правдой, которая не твоя. За жизнью, которой ты не жил. За любовью, которой у тебя нет.

Я усмехнулся. Зеркало не обманывало. Оно просто было мной, но тем мной, которого я тщательно скрывал даже от самого себя.

— И что же ты посоветуешь?

— Не смотреть в зеркала после полуночи. Не отвечать на вопросы, которых тебе не задавали. И не влюбляться в женщину, которая не отражается.

— А такие бывают?

— Здесь — да.

Отражение улыбнулось, но улыбка вышла кривой, как будто стекло треснуло, не разбившись.

Я задёрнул шторы и лёг в кровать, не раздеваясь. Сон не шёл. Я прислушивался к дому, и дом отвечал мне: скрипом половиц, хотя никто не ходил, стонами за стеной, хотя стена выходила в пустоту, и, наконец, едва слышным шёпотом, который струился по всему зданию, как кровь по венам. Шёпот был неразборчив, но в нём угадывались слова:

«Уходи... пока не поздно... уходи...»

Я лежал с открытыми глазами и думал о том, что всякий,

кто занимается моим ремеслом, должен быть готов к тому, что зеркала — это не просто стекло. Это двери. И некоторые из них открываются только в одну сторону.

Под утро я всё же задремал, и мне приснилась женщина из зеркала. Мари. Она стояла у окна, но окно было в моей комнате, и за ним был не вяз, а бесконечное белое поле, покрытое снегом, которого ещё не было. Она обернулась и сказала:

— Ты спрашиваешь, зачем я здесь. А я здесь, потому что не могу уйти. Он держит меня. Он — держит — меня.

Последние слова она произнесла по слогам, и каждый слог был как камень, брошенный в замерзший пруд: глухо и навсегда.

Я проснулся от холода. В комнате было темно, хотя за окном уже брезжил рассвет. Я подошёл к зеркалу, отдёргнул занавеску, которую сам же и повесил, и увидел, что на стекле, изнутри, как будто кто-то дышал, проступили буквы:

«НЕ ОТВЕЧАЙ ЕЙ»

Я не знал, кому «ей». Но решил, что теперь — знаю.

Утром за мной пришла та самая женщина в чёрном, что встретила меня у ворот. Вблизи она оказалась моложе, чем я подумал вначале: лет двадцать пять, не больше. Тонкие черты лица портило только выражение вечной настороженности, как у зверька, привыкшего, что его бьют.

— Завтрак подан, — сказала она. — Госпожа просила передать, что будет рада видеть вас в столовой.

— Госпожа — это вдова?

— Да. Аглая Андреевна Верховцева.

— А вы — её компаньонка?

— Я — никто, — ответила она, и в голосе её не было ни горечи, ни кокетства, только спокойная констатация факта, от которой мне стало не по себе.

— Имя у вас есть?

— Имя есть у всех. Меня зовут Поля. Но это имя мне не принадлежит.

Она развернулась и пошла по коридору. Я поплёлся следом, размышляя о том, что в этом доме даже прислуга говорит загадками.

Столовая была обширная, с длинным дубовым столом на двадцать персон, из которых занято было только одно место — во главе. Там сидела Аглая Андреевна, в чёрном утреннем платье. Лицо её не меняло выражения, что бы она ни говорила. Перед ней стояла чашка с чаем, от которого не поднимался пар.

Я сел по правую руку от неё. Поля подала мне завтрак: яйцо всмятку, тост, масло. Всё было холодное. Будто приготовлено давно и для кого-то другого.

— Вы плохо спали, — сказала вдова вместо приветствия. — Это заметно. Здесь все плохо спят. Кроме поверенного. Он вообще не спит.

— Он что, бессмертный?

— Хуже. Он верный.

Она отпила чай, не глядя в чашку, и поставила её на место

с таким звуком, будто ударила молоточком по наковальне.

— Расскажите мне о моём покойном муже, — сказала она вдруг. — Вы его видели в зеркале?

Я поперхнулся тостом.

— Простите?

— В зеркале, господин Штерн. В том, которое вчера открыли вы. Там был он. Я знаю. Я видела, как вы смотрели. Ваши глаза... у вас глаза оценщика, но не только. У вас глаза человека, который умеет видеть. И видеть больше, чем следует.

— Я не понимаю, о чём вы.

— Понимаете. Но боитесь сказать. Не бойтесь. Здесь все говорят только правду. Правда — единственная валюта, которая имеет хождение в этом доме. И ею расплачиваются за всё.

Я отодвинул тарелку. Есть не хотелось.

— Если я скажу правду, вы мне поможете?

— Помогу чем?

— Выбраться отсюда.

Она улыбнулась. Впервые за всё утро. Улыбка была как луч света в склепе: прекрасная, но неуместная и пугающая.

— Никто не может выбраться отсюда, господин Штерн. Отсюда можно только уйти. Но уходят по-разному.

— И как же ушли те, кто до меня?

— Они всё ещё здесь.

Она кивнула Поле, и та, неслышно подойдя, положила пе-

редо мной связку ключей. Их было семь. По числу зеркал, которые мне предстояло оценить. Или пережить.

— Приступайте, — сказала вдова. — Комнаты открыты. Зеркала ждут. И помните: не отвечайте на вопросы, которых вам не задавали.

— Что будет, если отвечу?

— Узнаете.

Она встала и, не прощаясь, вышла. После неё остался всё тот же запах — тонкий, сладковатый, как духи на покойнике.

Поля осталась. Она смотрела на меня, и в её глазах я увидел то, чего не ожидал: страх. И сочувствие.

— Если услышите её голос, — тихо сказала она, — не общайтесь. Она не выносит, когда на неё смотрят.

— Кто?

— Мари.

Я хотел спросить ещё, но Поля уже вышла. Я остался один в огромной столовой, где часы на стене показывали время, которого не существовало: двенадцать часов, хотя на дворе было утро.

** — Мы слышим. Мы всегда слышим. Даже когда вы молчите.**

Глава пятая

в которой я открываю первое из семи зеркал, знакомлюсь с человеком, которого считал покойным, и совершаю сделку, о которой пожалею прежде, чем закончится день.

Семь ключей. Семь комнат. Семь зеркал, занавешенных чёрным шёлком, как невесты на похоронах. Я стоял в коридоре второго этажа, сжимая в руке связку, и думал о том, что всякая оценка — это разновидность исповеди. Только исповедуется не человек, а вещь. И вещи, в отличие от людей, никогда не лгут. Они умалчивают. А это разные вещи.



Первый ключ был самый маленький, с бородкой в форме креста. Я подошёл к двери в конце коридора — той самой, что вела в малую гостиную, где вчера со мной говорило зеркало. Замок поддался с таким звуком, будто кто-то выдохнул. Я толкнул дверь и вошёл.

Комната была та же, но в утреннем свете она казалась

меньше и будто придавленной к земле, как старуха, которая встала с кровати и уже устала. Семь зеркал висели на стенах в два ряда: четыре сверху, три снизу. Первое, с чёрным дубом, то самое, из которого на меня смотрела женщина, — крайнее слева. Я подошёл к нему, помедлил, как человек, стоящий на краю обрыва, и сдёрнул шёлк.

На этот раз в зеркале не было ни женщины, ни мужчины, ни комнаты с белыми занавесками. Вместо этого я увидел себя. Обычного себя, вчерашнего, в той же одежде, с тем же испугом в глазах. Зеркало показывало меня прежнего, не сегодняшнего. И это было невыносимо: смотреть на себя со стороны, как на чужого человека, который совершил ошибку, войдя в этот дом.

— Ты всё-таки пришёл, — сказал голос. Но не из зеркала. Он звучал в моей голове, как звон, который остаётся после удара колокола.

— Кто ты? — спросил я вслух, не надеясь на ответ.

— Тот, кого ты ищешь. Тот, кого ты боишься. Тот, кого ты сам привёл сюда.

Я прищурился. Отражение в зеркале ухмыльнулось. Я не ухмылялся.

— Что тебе нужно?

— Мне? Ничего. Я уже мёртв. Но ты — нет. Пока нет. И она — не мертва. Она ждёт. Она всегда ждёт. Она научилась ждать, когда умерла.

— О ком ты?

— О той, что не отражается. О той, что сидит у окна и пишет письма, которые никто не прочтёт. О той, чьё имя нельзя произносить вслух, потому что оно звучит как молитва, которую забыли.

Я почувствовал, как по спине пробежал холод, но не от страха. От понимания. Мари. Речь шла о Мари.

— Она твоя сестра?

— Она — моя тень. Или я — её. Уже не помню. В этом доме всё перепутано. Зеркала путают. Они отражают не то, что есть, а то, что было. Или то, что могло бы быть. Или то, что никогда не случится, но всё равно живёт внутри стекла, как червь в яблоке.

— Что случилось с ней?

— Её убили. Но она не знает. Она до сих пор думает, что жива. И тот, кто её убил, тоже не знает. Он думает, что любил. А любовь и смерть — это два отражения одного и того же. Разница лишь в том, с какой стороны смотреть.

Я отвернулся от зеркала. Мне стало дурно. Воздух в комнате был тяжёлый, как перед грозой, и пахло от него не пылью, а чем-то сладковатым, как от раздавленных фиалок. Я прошёлся по комнате, разглядывая остальные зеркала, но не решаясь их открыть. Я знал, что за каждым чёрным полотном — своя история, своя жертва, свой голос, который будет говорить со мной, если я позволю.

— Оценивай, — сказал голос. — Ты же за этим пришёл. Оценивай всё. Но помни: цена — это не то, что ты платишь.

Цена — это то, что ты теряешь.

— Что я потеряю?

— Себя.

Я рассмеялся, но смех вышел невесёлый, как лай собаки в пустом дворе. Себя я уже потерял. Давно. В тот день, когда впервые посмотрел в зеркало и не узнал собственного лица. Мне было двенадцать лет. С тех пор я научился не всматриваться в отражения, а только скользить по ним взглядом, как по страницам чужой книги.

— Ладно, — сказал я вслух. — Будем знакомы. Раз уж ты мёртв, представляюсь: Мордехай Штерн, оценщик зеркал. А ты кто? У тебя есть имя?

— Имя есть у всех. Но некоторые имена лучше не произносить. Особенно в этой комнате. Особенно перед зеркалами. Но раз ты просишь... Зови меня Гриша. Григорий Верховцев. Муж Аглаи. Или, точнее, то, что от него осталось.

Я замер. В висках застучало. Григорий Верховцев. Покойный муж вдовы. Тот, кого она, по её словам, хотела забыть, продав зеркала. Тот, кто стоял в зеркале рядом с Мари, склонившись над ней. Тот, кто держал её здесь.

— Ты умер? — спросил я глупо.

— Все умирают. Вопрос в том, когда. Я умер не тогда, когда остановилось сердце. Я умер, когда понял, что люблю не ту. И что та, которую я люблю, никогда не будет моей. И что я готов на всё, чтобы она была. Даже на то, что я сделал.

— Что ты сделал?

— Не сейчас. Слишком много вопросов. Ты ещё не готов. И она ещё не готова. Но скоро. Скоро она начнёт говорить. И тогда ты услышишь историю, которую не захочешь помнить. И не сможешь забыть.

Отражение в зеркале стало расплываться, как будто между мной и стеклом повис туман. Я видел уже не себя, а какой-то силуэт — высокий, в сюртуке, с бледным лицом и тёмными глазами. Григорий. Он смотрел на меня не с ненавистью, не с мольбой — с усталым любопытством человека, который давно наблюдал за мной издалека и теперь наконец решил заговорить.

— Послушай, Штерн. Ты не первый, кто пришёл сюда. До тебя были другие. Оценщик из Парижа, месье Лардан. Он открыл третье зеркало и ослеп. Потом был англичанин, мистер Блэкмор. Он открыл пятое и сошёл с ума. Они уходили, но не ушли. Они всё ещё здесь. В зеркалах. Ты можешь их увидеть, если присмотришься. Только не присматривайся слишком долго.

— Почему я?

— Потому что ты не боишься. Пока. И потому что ты похож на неё. Не лицом — душой. Ты тоже не отражаешься. Пока.

Он исчез. Зеркало снова стало просто зеркалом, и в нём снова был я — вчерашний я, испуганный, но упрямый. Я смотрел в свои глаза и не узнавал их. Что-то изменилось. Что-то поселилось во мне, как жилец, который не платит за

постояй, но при этом переставляет мебель по-своему.

Я вышел из комнаты, запер дверь на ключ и прислонился спиной к стене. Дышать было тяжело. Я прижал ладонь к груди и почувствовал, как сердце бьётся неровно, с переборами, как часы, которые вот-вот остановятся.

— Ну как? — раздался голос.

Я вздрогнул и обернулся. В коридоре стояла Поля. В руках у неё был поднос с чашкой чая, от которого на этот раз поднимался пар. Значит, всё-таки живая.

— Вы следите за мной?

— Я прислуживаю. Это моя работа — быть рядом, когда никого нет.

— А когда кто-то есть?

— Тогда я тоже есть. Просто меня не видят.

Она подошла ближе и протянула мне чашку. Я взял. Чай был горячий, с мятой и чем-то терпким. Я сделал глоток, и тепло разлилось по телу, возвращая меня к действительности, которую я уже начал терять.

— Вы открыли первое зеркало, — сказала Поля не то спрашивая, не то утверждая. — Он говорил с вами?

— Да.

— Это плохо. Обычно он молчит. Он заговорил только с месье Ларданом. И то под конец.

— Что было с Ларданом?

— Он ослеп. Но не сразу. Сначала он начал видеть везде отражения. Даже там, где их не было. В супе, в лужах, в

глазах людей. Потом он стал бояться собственных рук. Говорил, что они стеклянные. А потом однажды ночью вышел во двор, встал под луной и сказал: «Теперь я вижу». И выколол себе глаза вилкой.

Я сглотнул. Чай показался горьким.

— Вы были здесь тогда?

— Я всегда здесь. С тех пор, как умерла Мари.

— А когда она умерла?

— Она не умирала. Её убили.

Поля смотрела на меня спокойно, но в глубине её зрачков я увидел то, что не мог объяснить: не боль, не страх, а какую-то древнюю, иссохшую скорбь, как у человека, который знает правду, но не может её произнести, потому что правда эта запрещена не людьми, а чем-то посерьёзнее.

— Кто её убил?

— Не знаю. Но вы — узнаете. Вы здесь для этого. Не для оценки. Не для продажи. Для того, чтобы узнать. И заплатить.

— Заплатить чем?

— Собой. Так всегда бывает.

Она забрала у меня пустую чашку и ушла, не попрощавшись. Я остался в коридоре один, если не считать теней, которые в этот час были особенно густыми и, как мне казалось, слегка покачивались, хотя сквозняка не было.

Я вернулся в свою комнату, сел на кровать и закрыл лицо руками. Мне хотелось сбежать. Прямо сейчас, не оглядыва-

ясь. Но я знал, что не сбегу. Не потому что смелый, а потому что любопытство — это тот же голод, только хуже. Его нельзя утолить, от него нельзя отказаться. Оно ест тебя изнутри, пока ты не признаешь его частью себя.

Я посмотрел на зеркало в своей комнате. Оно было занавешено шторой, которую я сам повесил вчера. Я встал, подошёл и резко отдернул её.

На меня смотрел я. Сегодняшний. Но в глазах моего отражения горел огонь, которого я в себе не чувствовал. И губы отражения шевелились, хотя мои были сомкнуты.

— Начинается, — прошептало оно.

И я не нашёл в себе сил возразить.

— Отражение —

Он смотрел в меня и думал, что видит себя.

Ошибся.

Он видел то, что я позволило ему увидеть.

А теперь он ушёл, и в комнате остался его запах: соль, воск и немного страха.

Люди всегда пахнут страхом, даже когда молчат.

Я запомнило его. Теперь он — мой.

Не навсегда. Но надолго.

Глава шестая

в которой я знакомлюсь с сестрой покойной, узнаю о письмах, которых не существует, и впервые за долгие годы чувствую, что сердце моё способно не только биться, но и разбиваться.

Ночью дом ожил. Я лежал в кровати, прислушиваясь к его дыханию — глубокому, неровному, как у спящего великана. Внизу кто-то ходил. Шаги были лёгкие, почти воздушные, но я слышал их так ясно, будто шёл человек по моей собственной груди. Потом зазвучала музыка. Тонкая, звенящая, похожая на звук стеклянных колокольчиков. Она доносилась из малой гостиной, и я понял: это зеркала. Они пели.

Я встал, накинул сюртук и вышел в коридор. Темнота здесь была не просто отсутствием света, а осязаемой субстанцией, вязкой, как патока. Я шёл на звук, касаясь рукой стены, и стена под моей ладонью была холодная, как кожа змеи. У двери в малую гостиную я остановился. Дверь была приоткрыта. За ней мерцал бледный свет, хотя свечей в доме не зажигали.

Я заглянул в щель.

В комнате, посреди лунного столба, падавшего из окна, стояла женщина. Я не видел её лица, только силуэт: высокий, стройный, в белом платье, которое казалось сотканным из тумана. Она медленно кружилась, как в танце, и зеркала во-

круг неё были открыты — все семь. Они показывали не комнату, не луну, а её саму, но по-разному: в одном она была девочкой, в другом — невестой, в третьем — старухой, в четвёртом — покойницей, в пятом — вообще ничем, пустотой. А в шестом и седьмом я увидел то, от чего у меня перехватило дыхание: она была счастлива. Она смеялась. Она жила.

Она остановилась. Музыка смолкла. И тогда она заговорила. Голос был тихий, как шелест шёлка по мрамору:

— Ты пришёл. Ты всё-таки пришёл. Я знала, что ты придёшь. Ты единственный, кто не отвернулся.

Я не знал, ко мне ли она обращается или к кому-то другому, кого видела в зеркалах. Но я не мог отвести глаз. Она повернулась, и я увидел её лицо.

Это было лицо Мари из первого зеркала. Но живое. Не отражение — настоящая, из плоти и крови, с румянцем на щеках и блеском в глазах. Она была прекрасна той особенной, тревожной красотой, которая не обещает счастья, а только обещает, что ты никогда не сможешь её забыть.

— Я не Мари, — сказала она, будто прочитав мои мысли. — Я её сестра. Софья. Но все зовут меня Соня. Или звали. Теперь уже никто не зовёт.

— Вы живы? — спросил я хрипло, всё ещё стоя за дверью.

— А вы?

Она улыбнулась, и улыбка её была как разбитое зеркало: красивая, но опасная.

— Входите, господин Штерн. Не бойтесь. Сегодня ночь

ихняя, но они вас не тронут. Они знают, что вы здесь ради них. И ради меня.

Я вошёл. Пол под ногами не скрипнул, хотя должен был. В комнате пахло свечами, хотя их не было, и какими-то цветами, названия которых я не знал. Соня — или то, что носило это имя, — подошла ко мне так близко, что я почувствовал её дыхание. Оно было холодным, но не неприятным, как воздух на реке перед рассветом.

— Вы не боитесь? — спросила она.

— Боюсь, — честно ответил я. — Но это ничего не меняет.

— Хороший ответ. Правдивый. Здесь это ценят.

Она обошла меня кругом, разглядывая, как разглядывают лошадь на ярмарке, и я почувствовал, как под её взглядом у меня загораются щёки. Давно со мной такого не было. Женщины не смотрели на меня так — с интересом, в котором больше охоты, чем любопытства.

— Вы хотите знать, что здесь произошло, — сказала она.

— Я расскажу. Но не сейчас. Сейчас ночь, а ночью в этом доме можно только слушать. Днём — смотреть. Ночью — слушать. Запомните это.

— А утром?

— Утром — молчать.

Она протянула руку и коснулась моей щеки. Пальцы были ледяные, но прикосновение обожгло. Я отшатнулся. Она рассмеялась — тихо, мелодично, но смех её был как эхо, ко-

торое не затухает.

— Вы очень живой, Мордехай. Это хорошо. Живых здесь не хватает.

— А вы?

— А я — не знаю. Никто не знает. Даже зеркала не помнят, когда я умерла. Если умерла.

— Но вы выглядите...

— Как живая? Да. Это моя работа.

Она снова улыбнулась, и в этой улыбке я вдруг увидел бездну такой глубины, что мне стало не по себе. Я сделал шаг назад.

— Не бойтесь, — повторила она. — Я не причиню вам зла. Зло здесь причиняют только живые. Мёртвые — они лишь помнят.

— Что помнят?

— Всё. Особенно то, что живые хотели бы забыть.

Она подошла к окну и остановилась там, где лунный свет падал на пол ровным серебряным прямоугольником. В этом свете её белое платье светилось, как будто сотканное из лунных нитей. Она была так красива, что мне стало больно. Не той болью, что от ножа, а иной — тупой, ноющей, как рана, которая не заживает годами.

— Завтра, — сказала она, не оборачиваясь, — приходите снова. Я расскажу вам о ней. О Мари. О Григории. О том, как любовь стала ненавистью, а ненависть — счастьем, которого никто не просил.

— Почему не сейчас?

— Потому что сейчас они слушают. А они не любят, когда говорят о них в их присутствии.

— Кто — они?

— Зеркала. — Она обернулась и посмотрела на меня, и я увидел, что в её глазах отражаются все семь зеркал, хотя она стояла спиной к ним. — Они всегда слушают. И всегда помнят. И когда-нибудь они заговорят. Тогда вы услышите всё. И, может быть, пожалеете, что умеете слышать.

Она растворилась в лунном свете. Не ушла — именно растворилась, как сахар в воде, как туман над Невой. Я остался один в комнате, среди открытых зеркал, и в каждом из них не было меня. Только пустые комнаты, залитые бледным светом, и чёрные шёлковые занавеси, колышущиеся от несуществующего ветра.



Я вернулся в свою комнату и до утра лежал с открытыми глазами, глядя в потолок. Мыслей не было. Только образ женщины в белом, стоящей у окна, и её слова: «Завтра приходите снова».

И я знал, что приду. Даже если бы меня ждала смерть. Даже если бы я знал, что у этого окна я потеряю не только

покой, но и душу.

Потому что впервые за многие годы я почувствовал нечто, что не имело отношения к стеклу, к оценке, к деньгам. Это было то, что люди называют по-разному: интерес, влечение, наваждение. Но правильное всего было бы назвать это началом падения.

** — Она не отражается. Но мы видим её. Она — из нас. И она — против нас. Это не прощается.**

Глава седьмая

в которой я получаю письмо, которого никто не писал, узнаю о сделке, которой не было, и становлюсь свидетелем того, как зависть творит с людьми такое, что не под силу и смерти.

Утро пришло серое, как пепел. Я спустился в столовую раньше обычного, надеясь застать там Полю или хотя бы получить чашку горячего чая. Но столовая была пуста. Только на столе, на белой скатерти, лежало письмо. Обычный конверт из плотной бумаги, без марки, без адреса, только одна буква: «Ш».

Я сел на своё место и долго смотрел на него, не решаясь открыть. Потом всё же распечатал. Внутри был лист, исписанный мелким, бисерным почерком, каким писали лет сорок назад. Чернила выцвели, но читать было можно.

«Господин Штерн!

Если Вы читаете эти строки, значит, Вы уже видели то, что не следовало. И слышали то, что не следовало. Не вините себя. Так устроен этот дом: он впускает не тех, кто ищет, а тех, кого ищут. Вас выбрали. Зачем — узнаете позже. А пока — несколько советов, которые, быть может, сохранят Вам разум.

Не открывайте шестое и седьмое зеркало до тех пор, пока не узнаете правду о первых пяти. Не доверяйте женщине в

белом. Она не та, за кого себя выдаёт. Не доверяйте вдове. Она знает больше, чем говорит. Не доверяйте поверенному. Он вообще не человек.

И главное: не влюбляйтесь. В этом доме любовь — не чувство, а приговор. Тот, кто полюбил здесь, уже не принадлежит себе. И не принадлежит жизни.

Прощайте.

Ваш предшественник, который не успел уйти.

Р. S. Если найдёте моё тело, не хороните его. Оно ещё пригодится».

Я перечитал письмо трижды. Почерк был незнакомый, но от него веяло такой тоской, что я невольно поёжился. Предшественник. Один из тех, кто был здесь до меня. Лардан? Блэкмор? Или кто-то третий, о ком я не знал?

Я сунул письмо во внутренний карман сюртука и решил, что не буду думать о нём. По крайней мере, до обеда. Но, как известно, самые опасные мысли именно те, которые мы решаем не додумывать. Они живут в нас, растут, как раковая опухоль, и однажды прорываются.

В коридоре я столкнулся с поверенным. Он стоял у окна и смотрел во двор, где мёртвый вяз ронял на землю свои не желавшие падать листья. Я хотел пройти мимо, но он заговорил, не оборачиваясь:

— Вижу, вы уже начали.

— Что начал?

— Задавать вопросы. Это хорошо. Вопросы — это един-

ственное, что заставляет этот дом отвечать. А он, поверьте, умеет отвечать.

— Вы здесь давно?

— Я был здесь всегда. По крайней мере, с тех пор, как помню себя. А помню я себя везде и нигде.

— Почему вы не уезжаете?

— Потому что я привязан. Не теми верёвками, что рвутся, а теми, что называются словом «долг». Вы понимаете?

— Нет.

— Поймёте. Все понимают. Только не сразу.

Он повернулся ко мне, и я впервые увидел его лицо отчётливо. Оно было обыкновенное, даже приятное: высокий лоб, тонкие губы, нос с лёгкой горбинкой. Но в нём не было ничего, за что мог бы зацепиться глаз. Как будто оно состояло из пустоты, обтянутой кожей.

— Скажите, — спросил я, — что вы делаете с теми, кто не выполняет условия?

— С какими условиями?

— Ну, с условиями дома. С тех, кто сбегает.

— Они не сбегают, — сказал он, и в голосе его прозвучало нечто вроде удовлетворения. — Сбежать невозможно. Можно только остаться. Или уйти туда, откуда не возвращаются.

— Куда?

— За стекло.

Он улыбнулся. Улыбка была вежливая, холодная, как у чиновника, который отказывает вам в помиловании, хотя

сам только что подписал приговор.

— Не смотрите в зеркала после полуночи, — добавил он.
— И не слушайте, если они начнут петь. Это не музыка. Это призыв.

— Чей?

— Хозяйки. Той, что живёт в самом большом зеркале. Она зовёт. И кто откликнется, тот уже не возвращается.

Он ушёл, не прощаясь, и я остался у окна, чувствуя, как холод проникает сквозь стекло, хотя окно было закрыто. За окном вяз покачивался, хотя ветра не было. И листья его падали не вниз, а вверх, исчезая в сером небе, как будто их за­тяги­вало в воронку, которую я не видел.

Днём я снова спустился в малую гостиную. На этот раз я не стал открывать зеркала. Я просто сел в кресло посреди комнаты и стал ждать. Я умел ждать. Семнадцать лет в этой профессии научили меня: самое важное случается, когда ты не двигаешься.

Через час явилась Поля. Она принесла мне обед: холодный суп, хлеб, графин с водой. Я не притронулся. Она встала у двери, как статуя, и молча смотрела на меня.

— Поля, — сказал я, — вы давно здесь?

— С рождения.

— И никогда не уезжали?

— Некуда. Здесь моя семья. Здесь мои мёртвые. Здесь моя жизнь, если это можно назвать жизнью.

— А если бы могли уехать?

— Я бы не смогла.

— Почему?

— Потому что уезжают только те, у кого есть куда. А у меня есть только это.

Она обвела рукой комнату, и я увидел, как дрожат её пальцы. Поля боялась. Но не меня. И не этого дома. Она боялась того, что может сказать.

— Вы знаете, кто я? — спросила она вдруг. — На самом деле?

— Компаньонка?

— Нет. Я дочь Аглаи.

Я не нашёлся, что ответить. Просто смотрел на неё, и в голове моей, как треснувшее зеркало, начали складываться осколки: возраст, сходство, та настороженность, с которой она держалась. Дочь. Дочь вдовы и, выходит, покойного Григория.

— Она не признаёт меня, — продолжила Поля, и голос её стал жёстче. — После смерти отца она велела называть её госпожой и обращаться на «вы». Я стала прислугой в собственном доме. Собственной тенью. Она говорит, что я похожа на отца. А она ненавидела его так, что эта ненависть пережила его смерть.

— За что?

— За Мари. За то, что он любил её сестру. За то, что он смотрел на неё так, как никогда не смотрел на жену. За то, что он был готов бросить всё ради той, что не отражалась.

— Но ведь Мари — её сестра. Как можно ненавидеть сестру?

— Зависть, господин Штерн, — Поля усмехнулась, и смех её был горьким, как полынь, — это единственное чувство, которое не требует причин. Достаточно, чтобы другой имел то, чего нет у тебя. Пусть даже это не счастье, а только его тень. Мари была красива. Аглая — умна. Мари — любима. Аглая — замужем. Но этого мало. Всегда мало.

Она замолчала, глядя в окно, и я подумал, что эта девушка, по сути, сама как занавешенное зеркало: видит всё, но не отражает ничего, кроме чужой жизни.

— Ваша мать знает, что вы говорите мне это?

— Она знает всё. Она всегда всё знает. Поэтому и не выходит из своей комнаты. Боится, что зеркала расскажут.

— О чём?

— О том, как умерла Мари. О том, кто её убил. И о том, что было после.

Я встал и подошёл к ней. Она не отшатнулась. Только подняла на меня глаза, и в них я увидел не страх, а усталую решимость человека, который слишком долго молчал.

— Вы хотите, чтобы я это узнал?

— Я хочу, чтобы вы это остановили. Потому что Мари до сих пор здесь. И Григорий до сих пор здесь. И они не уйдут, пока правда не выйдет наружу. А правда эта может убить тех, кто её коснётся.

— Но вы же хотите, чтобы я коснулся?

— Вы уже коснулись. В тот момент, когда вошли в этот дом. Дальше всё предрешиено.

Она вышла, оставив меня одного среди семи закрытых зеркал. И я впервые почувствовал то, о чём не писал ни один оценщик: стекло может не только отражать. Оно может обвинять. И когда оно обвиняет — ему не нужны ни судьи, ни присяжные. Оно само выносит приговор. И само приводит его в исполнение.

** — Он спрашивает. Мы отвечаем. Только он ещё не знает, что вопросы — это тоже плата.**

Глава восьмая

в которой я открываю второе зеркало, знакомлюсь с человеком, которого нет, и узнаю, что любовь иногда приходит с той стороны, откуда не ждёшь.

Второе зеркало висело справа от первого, в раме из серебра, почерневшего от времени и от чего-то ещё, чему я не хотел давать названия. Оно было меньше первого, но казалось тяжелее, как будто стекло впитало в себя не только свет, но и то, что происходит при свете: признания, слёзы, поцелуи, измены. Я подошёл к нему не сразу. Сначала обошёл комнату, потрогал стены, зачем-то заглянул под кресло, как будто мог найти там подсказку. Потом остановился у зеркала и сдёрнул шёлк одним резким движением — так срывают пластырь с незажившей раны: быстро, чтобы не успеть испугаться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.